

Драматург длящегося момента

ПОЧЕМУ я люблю пьесы Чехова? Почему работа над ними для меня интереснее работы над пьесами любого другого писателя? Я театралный работник, а не писатель, и ответить на этот вопрос мне не так-то легко.

Джон Бейли ФЕРНАЛ, президент Королевской академии драматического искусства

Каждый из множества чеховских «моментов», связанных с Тузенбахом, и каждый из «моментов», связанных с Соленым, ведут к сцене барона и Ирины в IV действии — к сцене, исполненной огромного драматизма. Мы знаем, что барон собирается дать на дуэли, мы знаем, как много значит для надежд Тузенбаха согласие Ирины стать его женой, хотя она его и не любит; мы знаем, что Тузенбах не из тех людей, которые побеждают на дуэлях. Во всей мировой драматургии не найти более драматических «моментов», чем прощание Тузенбаха с Ириной или тот страшный «момент», когда доктор говорит Ирине, что «барон убит на дуэли».

Высокое наслаждение и честь участвовать в воссоздании чеховских «моментов», несомненно, является одной из причин моей любви к нему, но это далеко не все. А «чеховский контрапункт», о котором говорят и пишут знатоки чеховского театра, — это нечто иное, чем различие и вечное очарование! Войнички с полными слез глазами, покурив сидит в кресле, уныло думая о бессмысленно прожитой жизни, о своей безнадельной страсти к Елене, а перед ним и за его спиной Астров и Телегин разглагольствуют пыльный фарс: мы видим трагедию и гротеск, и оба от этого соседства кажутся ярче. В чеховских пьесах можно найти много примеров подобного контрапункта. Банальные реплики Сорина, когда Треплев высказывает свои взгляды на драму, Блеховцов, ставящий челом на картонку со шляпой, а сцене отъезда в IV действии «Вишневого сада» — три сцены Пилина в той же пьесе — вот лишь некоторые из них.

И наконец (помню множество других неповторимых особенностей чеховского творчества), к его пьесам хочется возвращаться снова и снова потому, что они пронизаны любовью к жизни. Он создал образы людей, которые любят жизнь и, как мне кажется, хотят жить вечно.

Соприкоснуться с духовным миром Чехова — это ни с чем не сравнимое счастье и честь. Я считаю, что нет другого драматурга, который мог бы дать столько, сколько дает Чехов, и с которым у его истолкователя могла бы возникнуть такая духовная близость.

Каждая постановка чеховских пьес рассказывает нам что-то новое и о Чехове, и о жизни, но полное воплощение всего совершенства Чехова остается недосягаемой мечтой. Идеальным работником театра, любящего свое искусство, были бы вечные генеральные репетиции «Вишневого сада»: ведь тогда еще можно надеяться, что совершенство будет достигнуто, что до него осталось только один шаг.

Мне довелось дважды поставить все основные пьесы Чехова, и моя заветная мечта — завершить этот цикл в третий раз: быть может, в третий раз мне удастся в большей степени передать их совершенство.

Лондон

Друзья в Индии

НА стенах самой большой комнаты в скромной квартире известного индийского писателя и критика Банарасидаса Чатурведи любовно развешены фотографии выдающихся общественных деятелей и наиболее любимых хозяином писателей.

На видном месте — портрет Горького и Чехова. Заметив нас, Чатурведи сердечно поприветствовал нас, как бы продолжая прерванный разговор, протянул нам лежащую на столе книгу: «Вот Чехов», — «Куттывала Махила» — «Дамы с собачкой». Недавно получил. Издана на языке хинди в Момбае. Очень правильно делается, что переводится и издается произведения Чехова на индийских языках. Наряду с Толстым и Горьким, Чатурведи — индийский писатель. Его произведения были известны в Индии еще до первой мировой войны.

Непревзойденный мастер короткого рассказа Антон Чехов, — провозгласил Чатурведи, — оказал огромное влияние на творчество многих индийских писателей. И это не только мое личное мнение, это мнение многих и в том числе нашего великого писателя Премананда. Причём, как бы уйдя в прошлое и вновь переживая далекие дни, Чатурведи поделился с нами воспоминаниями о том, какое большое впечатление на Премананда произвели рассказы Антона Павловича Чехова, в особенности «Тоска».

«Тоска» — простая повесть об извозчике, у которого умер сын, и ему не кем было поделить наследство. На протяжении Чехова Чатурведи подбирал нам свою книгу «Силхуэты». В очерке «Два дня с Преманандом», помещенном в этой книге, он писал:

«Мы допоздна разговаривали с Преманандом о писателе-рассказчике и об искусстве короткого рассказа. Я заранее написал вопросы, которые хотел ему задать».

Я спросил: насколько сильно влияние иностранных авторов на наших писателей? Он сказал: — Мы пишем такие рассказы, в которых больше всего сказывается влияние русских авторов. Вопрос: кто является лучшим в мире писателем в жанре короткого рассказа? Премананд ответил: «Чехов».

Произведения А. П. Чехова и в наши дни продолжают оказывать большое влияние на творчество прогрессивных писателей Индии. По свидетельству Нараяна Гонгапала — автора интересной «Истории рассказов» — многие современные бенгальские писатели признают, что Чехов и Горький сыграли в их творчестве

Университет для писателя

Берды КЕРБАБАЕВ КОГДА много лет назад я впервые прочитал Чехова, мне еще не было, конечно, ясно, какое огромное влияние окажет искусство этого писателя на нашу молодую литературу. Просто хотелось приобщиться к чудесной стороне мировой культуры...

Это было много лет назад. Теперь каждый школьник в Туркмени знает Чехова, нет библиотеки, где нельзя было бы получить его произведения. Чехов стал другом туркменского читателя навсегда.

Но теперь я все чаще задумываюсь над другим вопросом: хорошо ли овладели чеховским наследием мы, писатели? Ведь значение Чехова, для туркменской литературы, для литературы всех народов Средней Азии не сводится только к разнотипу в них жанра рассказа.

Чехов нужен новеллисту. Чехов нужен драматургу. Вряд ли стоит комментировать это. Но Чехов нужен и поэту — разве может современный поэт не впитать в кровь своих стихов чеховского мастерства точной фразы, точной детали, разве не светит ему, поэту, знаменитое чеховское стекло разбитой бутылки, оживляющее лунную ночь?

Но мне кажется (может быть, потому, что сам я работаю в жанре крупной прозы), что пристальное все изучение чеховского мастерства следует... романстам. Да, романистам, хотя Чехов считается большим мастером малой прозы.

Теперь много говорят о так называемой «западной» манере писать романы. Дина мизм! Краткости! Все это, может быть, и так, но я против того, чтобы объявлять «краткость» как-то завоеванием исключительно западной писательской культуры, тем более что видные писатели Запады не раз говорили о влиянии на них Чехова. Мы давно знаем эту краткость — «сестру таланта».

Роман больше рассказа. Но два одинаково больших романа могут отличаться друг от друга, как бесплодный бархан от хлопкового поля. Один будет казаться длинным, потому что растянут и бесконечно однообразен, а другой написан так, что каждая сцена, каждая фраза художественно полезны, наполнены плодотворной мыслью и чувством.

Очень часто весь смысл событий, сцен и подробностей лежит у нас, романстов, на поверхности, и пишем мы, так сказать, однознатно. Но так же, как хлопкороб за краем своих ботинков должен различать мощь земли, поливающей эти кусты, так же и романист должен различать за ходом событий внутреннее движение жизни, должен уметь пользоваться подтекстом и направлять читательское чувство незаметными первыми взглядами деталями. Если вообще можно выучиться этому волшебству, то нужно учиться ему у Чехова.

Молодые писатели должны помнить, что чеховское наследие — это неисчерпаемый кладезь мастерства, это критерий художественной силы, который никогда не станет слишком низким, сколько бы мы ни росли. Чехов — университет для писателя. Пусть каждый станет его студентом! Это нелегко: будет первый курс, который обогатит тебя какими-то общими ценностями, будет и старшие курсы, которые откроют тебе высшие профессиональные тайны. Большого приращения и большого желания требует эта учеба, но не надо жалеть сил и времени: работать будет легко и радостно!

И. МИХАЙЛОВ АШХАБАД

«ЧЕЛОВЕК СТАНЕТ ЛУЧШЕ...»

В ЗАПИСНОЙ книжке Чехова мы находим строки, которые помогают много раз в самом его подходе к изображению человека.

«Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». Видеть то, что есть, а не то, что хотелось бы увидеть, не подгонять факты под заранее заданные решения и схемы; смотреть в лицо жизни бесстрашно и свободно — вот, что означала чеховская правда. Было в ней что-то суровое и самоотверженное. И слышались в ней печаль: грубая жизнь, и до счастья еще далеко.

Ничем не исчерпывается содержание чеховской записки. Мысль о верности правде слита здесь с верой в человека. Одно дело — изображать героя, как он есть, не веря в то, что он может стать лучше. И совсем другое — изображать человека, каков он есть, запечатлеть существующее для того, чтобы помочь человеку преодолеть настоящее, оттолкнуться от него, устремиться в будущее.

Вера здесь не соседствует с правдой, но проникает в нее. Чеховский реализм строится не на правде добросовестного воспроизведения, но на правде предостережения.

Один из рассказов Чехова — «Вечный» (1886) открывается словами:

«Семью еще не сошел снег, а в душу уже просятся весна».

Когда думаешь об этих словах, на па-

мять приходит картина Левитана «Март». Земля еще покрыта снегом, но уже дрогнуло царство зимы, и все в природе полно скрытого ожидания.

Изобразить приближающуюся весну — не значит делать вид, что уже нет снега; надо лишь так изобразить снег — рыхлый, влажный, потемневший, чтобы читатель или зритель почувствовал: недолго уже осталось ждать.

Думаешь, что чеховские слова о не сошедшем с земли снеге, о весне, которая просится в душу, характеризуют не только его общий взгляд на жизнь, но и поэтический угол видения действительности. Изображение у Чехова возникает в результате скрытой, но напряженной, драматической борьбы существующего и ожидаемого, человека, каков он есть, и каким может и должен быть. Отсюда, как в «Чайке», столкновение двух мотивов: «Груба жизнь!» — с горечью восклицает Гина Заречная, и она же говорит: «Не боюсь жизни». Смысл пьесы и шире — смысл творчества Чехова — в поиске, к которому одному из этих сталкивающихся друг с другом мотивов. Все этого мы не сможем оценить и роль чеховской детали, которая не просто оживляет картину или характер, но всегда участвует в столкновении двух планов, «двух сюжетов», связанных с сущим и должным. Чеховский подтекст тоже глубоко связан с поэтикой преодоления «данного», с верой в то, что «человек станет лучше».

Попробуем проследить это на примере рассказа «Аграфья» (1886).

Написанный в переломные годы, он уже отмечен художественной зрелостью. Недаром Д. Григорович в известном письме к молодому Чехову, говоря о том, что у него «несомненный талант», упоминает именно этот рассказ (письмо от 25 марта 1886 года).

Не считая самого рассказчика (повествование ведется от первого лица), в центре произведения два образа — характера: Аграфья, молодая жена стрелочника, приходящая на свидание к Савке, и Савка — здоровый, ленивый парень. Он груб и равнодушен. О предстоящем приходе Аграфьи он говорит «своим обычным, бесстрастным, несколько грустным голосом» — так, словно речь идет «о таком же или каше».

А. — это ты? — произнес Савка, закуривая в рот трубку... Так начинается любовное свидание. Аграфья, Афифа своей «презрительной лаской» он уже торопит ее: «Пора, пора тебе... Что разлежась тут? Ты, бесстыжая!».

Аграфья — в начале рассказа робкая, застенчивая женщина. Но встретившись с Савкой, опытный от водки, она жадно отдается наслаждению. Ей надо спешить домой, уже прошел поезд, после которого должен вернуться муж — стрелочник, она хочет подняться на ноги и не может.

«Как-то непобедимая и неутомимая сила толкнула ее по всему телу, и она пришла к Савке».

А ну ах! — сказала она с диким, грустным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль».

И вот уже на рассвете она возвращается домой, идет навстречу поджидающему ее мужу: «Приподняла платье, расправившая сползшие с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле...» А затем, собравшись с силами, мотнув головой, она «смелой походкой направилась к мужу».

Аграфья любит Савку торопливой, жадной, слепой любовью, не замечая его грубости, открытоно любящего им.

Такова эта «любовь» — грубая, небрежная, равнодушная у Савки и — жадная, стигийная, слепая у Аграфьи. Что-то тяжелое и душевное в этой любви. Встречаются герои в шалаше, от которого шел густой и душный запах... Это ощущение «духоты ночи» не покидает нас.

Еще одно слово многократно повторяется в рассказе. У Савки «бесстрастный, несколько грустный голос», «грухо» звучат робкие шаги Аграфьи, «грухо» стучит по мотку поезда, после которого Аграфья на-

бежать домой; и, наконец, у ее мужа «грухой» голос.

И вот этому миру людей с «грухими» голосами, «душной» любовью противопоставит какой-то иной, пожалуй, не «мир», а нечто другое, светлое, чистое, человеческое.

Рассказчик — фигура в чеховских произведениях довольно редкая — ничего не говорит о своем отношении к изображаемому. К Савке, к Аграфье, к мужу Якову. И в то же время мы начинаем догадываться о том, что это именно ему кажется «душной» и темной любовью героев.

Вот как описан его уход из шалаша: «А ну его!» — сказала она с диким, грустным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль».

Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояла наша рыбацкая изба. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит».

Нам открывается удивительное искусство Чехова выражать мысль «невидимыми» художественными средствами. Иногда он только ставит рядом две сцены, две картины, две фразы — и само сопоставление, соотношение их и являются формой выражения мысли.

В самом деле, «опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотой шалаша», Аграфья, прижимаясь к «плечу к его плечу», пытается подняться, а затем снова падает, и в этот момент слышится, припадая к нему, как Савка, с не прикрытой грубостью проговариваясь: «...И вдруг совсем иное звучание, иная тональность строк, от которых веет чем-то совсем другим, непохожим на эти грубые, грубые, душевные страсти».

«Я тихо побрел в рощу... Это звучит музыкально, почти как в стихе. Сдержанная аллитерация подчеркивает такое ощущение. «Река спала...» Перед нами вполне

примечная метафора, но здесь она особенно выразительна, ибо непосредственно подготавливает сцену душной, очень важной образ «свечка-ребенок».

«Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит».

Насколько же поэтичен и даже чужд вечней этот нежный цветок, чем Савка, его «свидание», его любовные «нежности».

Одна только фраза, одна деталь, формально рассуждая, не связанная непосредственно с развитием сюжета. Но как она значительна!

Грубой чувственностью любовного свидания противопоставлены нежная чеховская красота и поэтичность природы. Вместе с тем глубоко ошибся бы тот исследователь, который свел бы содержание рассказа к такой идее: животная грубость людей, Савки и Аграфьи, и — нежная красота мира природы.

Приглядимся внимательнее к Савке. Он ленив, груб. Но есть в нем какая-то необъяснимая мягкость. Вот он глядит на рассказчицу своими «кроткими», задумчивыми глазами, жадно слушает его, не мигая и улыбаясь от удовольствия; все ему «любопытно». Он дружит с природой, ловит птиц, да и сам живет, как «птица небесная». Савка не может жить по шаблону, так, как заведено. Он выпадает из привычного круговорота деревенской жизни. Его успех у баб объясняется не только тем, что он красен и строен, «Одним внешними качествами не объяснишь этого обаяния», — пишет Чехов.

Так, сквозь облик, казалось бы, почти звероподобного существа проступают черты странной, почти до неузнаваемости искаженной доброты и человечности.

Пожалуй, в еще большей степени это чувствуется в Аграфье.

Грустное, недоконченное раздумье о судьбе Аграфьи не перестает у Чехова в беззаветную мысль о том, что человек по природе своей — животное, зверь и т. п. Мы искусственны, мы творим, мы чужды такой жизни, что встретил в Савке — может быть, единственная радость в ее однообразном скучном существовании.

(Окончание на 6-й стр.)

Предвестник восхода

ВОСЕМЬ лет тому назад я посетил домик Чехова в Ялте. Очутившись в его комнатах, я мысленно перенесся в собственное далекое прошлое.

Так жил в начале нашего столетия выдающийся писатель, без сдвигая под окнами без радостного общения с цветами и деревьями, он не мог быть счастливым. В 1920 году мы с женой еще снимали меблированную квартиру. Ничто не принадлежало нам здесь — ни комнаты, ни мебели. В саду мы не имели права пересечь на другое место даже самый маленький кустик. Нашему сынишке, который в то время только начинал ходить, мы запрещали влезать в сад и листья. И тем не менее мы были счастливы, ибо первая мировая война осталась позади, а тогда мы еще не верили, что когда-нибудь может разразиться вторая.

К тому времени уже прошло пятнадцать лет с той смерти Чехова. Он умер в Баденвейлере от чахотки, умер, как врач, которому некогда было подумать о самом себе. Он был необычайно близок всем нам. Еще школьниками, а затем и студентами мы с увлечением читали его рассказы. Этот русский, со свисающими кинзу концами усов и редкой бородкой, был европейцем, олицетворявшим собою замечательное явление: исключительный талант, всецело посвященный художественному изображению жизни обыкновенного человека. Мы были знакомы в переводах с творчеством крупнейших русских писателей XIX века. Мы мало знали Пушкина, зато глубоко изучили Тургенева и Гоголя, а основные творения Толстого и Достоевского оставили глубокий след в нашем сознании. По мере того как мы становились старше, в наших умах крепла

решимость изучить каждую строку, написанную этим истинным гигантом.

Антон Чехов подвигивал туберкулез. Представления о нем — ленивом и нежном и о крупных общественных потрясениях — нераздельно слились в моем сознании с образом Чехова. Чехов был предвещанием, предвещанием, в котором — русская революция. Как врач, Антон Чехов заглядывал глубоко в души страдающих людей. Как писатель, он сумел блестяще воссоздать атмосферу, которая могла быть сметена только революцией и в конце концов действительно была уничтожена ею. Эту атмосферу предреволюционной России мы живо ощущали во всех его произведениях. Он не примирялся с ней, но и не вставал против нее бурно и негодующе. Казалось, он нес ее бремя, тяжело дыша, подбавляя себя и других надеждой и улыбки. И так мы выжили под сенью Чехова, — целое поколение буржуазной молодежи, и поэтому не приходится удивляться, что величайший мастер современной литературы Томас Манн посвятил одну из своих последних монографий творчеству Чехова.

Я рассказывал, как сильно мы любили Антона Чехова. Благодаря его мастерству мы познакомились со взглядами и начинаниями новой русской интеллигенции. Силою своего ума он приоткрыл дверь в будущее. Пусть он не сумел широко распахнуть ее, как сделал это его современник Максим Горький. Однако светлое сияние, исходящее от созданных им образов, от всех его творений, предвещало яркий солнечный восход. Он был предвестником русской зари. Недаром сейчас советское солнце блистательно озаряет наш век.

БЕРЛИН

ИОН ДРУЦЭ

«ЗНАМЕНИТОСТЬ № 877»

СВЕТЛАЯ, сочная шутка привела молодого Чехова в редакцию юмористического журнала. Рассказ начинался с того, что на протяжении четверти века последовало множество таких же унылых рассказов. Чехов шутил со сцены, шутил в письмах, шутил с окружающими его людьми, и последние слова, сказанные перед смертью, были тоже своеобразной шуткой: «Давно я не пил шампанского...»

И все-таки Чехов не был юмористом в обычном понимании этого слова. Чехов шутил, но это было его уныние, нужда, — от нее он отвлекался.

«Милый друг, Константин Макарыч, я пишу тебе письмо...»

Ночь под Рождество. Хозяев нет дома. В спальной мастерской остался только Ванька со своей горькой долей, и он выпахивает ее медленно, косыми буквами... А еще он сообщает дедушке, что Москва — город большой, дома все господские и лошадей много, а овес и сено и собаки не злые... Завершил письмо, Ванька написал свой знаменитый адрес — «На деревню дедушке».

Прошло почти три четверти века с тех пор, как Ванька писал в почтовый ящик свое письмо. И вот недавно произошло небольшое событие в Книжнике. Ранней осенью, после полуночи, возвращаясь ребятишки из школы. Несколько отстал от своих подружек, плетется девочка Ванькиного возраста. Идет заплаканная, и так ей горько, что просто чудом переступает маленькие ножки. Остановившись, она произносит:

— Что случилось, девочка? Заплаканная карие глаза смотрят долго и печально.

— Бедный Ванька... Уж как тошно над ним не жалею... И письмо не дойдет — разве так нужно адрес писать!

Кругом стоят в глубокой печали седые люди, люди, прошедшие две мировые войны: в самом деле, туго приходилось бедному Ваньке... И адрес, конечно, не так нужно было...

— А может случиться, что письмо дойдет?

— Девочка упрямится всех глазами — ну, пожалуйста, скажите, что может...

— А что, может и дойти, — замечает один прохожий, но так нерешительно, что девочка, обласкав слезами, уходит дальше — ну как же, дойдет...

Человеческая жизнь прошла с тех пор, как был создан Ванька. Теперь Москва стала совсем другой. И лошадей нету на ее

улицях, исчезло великое множество спальных мастеровых вместе со своими горькими подметками, и сама сажала теплоты, и сама делала это Ванькин хозяин.

Но Ванька остался. Остался вместе со своим беспротестным горем, вместе со своей мастерской и с ребячеством, которого нужно качать. Остался все они, чеховские герои, а вместе с ними — и чеховская улыбка, и его горькая обиды на унылое человеческое существование.

Сердце Чехова приняло в себя бола великого народа, и перо писателя боролось за народ.

С КРОМЕН и застенчивым был автор «Трех сестер». Голым мечтал познать мир, и раз Толстой пригласил его, а Чехов долго не мог решиться пойти.

Еще бы! Ведь у Толстого — «номер первый» русского искусства. Чайковский, пишет Чехов в одном письме, «знаменитость № 2... а я № 877».

Жена сообщает Чехову, что он избран временно председателем одного литературного общества. Чехов очень озабочен — он не знает, кого следует благодарить за столь высокую честь.

Наконец, благоволит к нему Чехов. Чехов пишет письмо, приятное письмо и — сразу просит выслать ему корректуру.

О, чеховская скромность! Многие из современных писателей, будучи избраны на большие посты, просят сразу выслать им корректуру!

Было время, когда исключительная скромность даже мешала ему в работе. В самом начале своей литературной деятельности Чехов долго подслушивал над своими рассказами — до получения знаменитого письма Григоровича. Если б Григорович не написал больше ни строчки, то одного этого письма было бы достаточно, чтобы сохранить его имя в литературе. Третье до слез ответ Чехова: «Как Вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость».

А что случилось бы, если, скажем, Григорович не полагал бы в руки тот номер журнала, в котором был напечатан чеховский «Егерь»? Пожалуй, ничего бы не изменилось — вместо него другой крупный писатель заметил бы талант Чехова. Это одна из самых красивых традиций русской литературы:

Старик Державин нас заметил, И, в гроб сходя, благословил... В свое очередь Пушкин благословил Гоголя. Белинский за-

метил, Другой образ — это сноха, которая пришла в голову такая милая идея. Хозяйка она, наперное, никомушня и

не может отличить хорошую рыбу от тухой. Но мать — забавная и, видит бог, мечта-ет видеть своих детей большими и здоровыми. Но, поди ж ты — в лавках стали продавать такую рыбу... Хорошо еще, что дед в доме есть».

Затем следует ее пометство, народ беззаботный и прожорливый, — лопают все, что ставят на стол, и этим доставляют много волнений своей мамаше.

Наконец, последний и, может быть, самый главный герой этой миниатюрнейшей новеллы, — тот крохотный мудрец, который заметил грустным тоном, что, женившись с рыбой, он еще слышнее мал и бессильнее защитит дедушку, но у него есть юмор. И он им действует. Изменяет фразу, делает ее от второго лица, и вы потеряете главного героя...

«Дедушке дают покусать рыб...». Сколько юмора и сколько бесопредельной правды в этой фразе! Антигуменная, она в высшей степени гуманна. Едва пробекла глазами и уже хочется узнать, что, где, когда? Хочется крикнуть:

— Да что ж вы делаете, братцы? Отравите деду, а потом кто вам будет рыбу пробовать!

МИРОВАЯ слава Чехова — это, конечно, не каприз моды. Чехов сумел соединить людей между собой. Чехов будил и воспитывал душу читательскую, учил ее любить единственную, уной и любящей улыбку...

Однажды, к концу своей жизни, Чехов сказал: — Меня будут читать лет семь, семь с половиной, а потом забудут... Но потом придет еще некоторое время — и меня опять начнут читать, и тогда уже будут читать долго.

Что же можно добавить к этим словам писателя сегодня, когда все человечество отмечает столетие со дня его рождения? Разве только то, что и впредь будут читать долго — будут читать, пока человеку свойственно будет бороться, мечтать и любить.

КНИЖНИКОВ

Старик — это уже образ. Мы не слышали его голоса, не знаем, как он зовут и как он выглядел, но мы уже понимаем его, сочувствуем ему.

Другой образ — это сноха, которая пришла в голову такая милая идея. Хозяйка она, наперное, никомушня и

любовно, и каждый из «моментов», связанных с Тузенбахом, и каждый из «моментов», связанных с Соленым, ведут к сцене барона и Ирины в IV действии — к сцене, исполненной огромного драматизма. Мы знаем, что барон собирается дать на дуэли, мы знаем, как много значит для надежд Тузенбаха согласие Ирины стать его женой, хотя она его и не любит; мы знаем, что Тузенбах не из тех людей, которые побеждают на дуэлях. Во всей мировой драматургии не найти более драматических «моментов», чем прощание Тузенбаха с Ириной или тот страшный «момент», когда доктор говорит Ирине, что «барон убит на дуэли».

Высокое наслаждение и честь участвовать в воссоздании чеховских «моментов», несомненно, является одной из причин моей любви к нему, но это далеко не все. А «чеховский контрапункт», о котором говорят и пишут знатоки чеховского театра, — это нечто иное, чем различие и вечное очарование! Войнички с полными слез глазами, покурив сидит в кресле, уныло думая о бессмысленно прожитой жизни, о своей безнадельной страсти к Елене, а перед ним и за его спиной Астров и Телегин разглагольствуют пыльный фарс: мы видим трагедию и гротеск, и оба от этого соседства кажутся ярче. В чеховских пьесах можно найти много примеров подобного контрапункта. Банальные реплики Сорина, когда Треплев высказывает свои взгляды на драму, Блеховцов, ставящий челом на картонку со шляпой, а сцене отъезда в IV действии «Вишневого сада» — три сцены Пилина в той же пьесе — вот лишь некоторые из них.

И наконец (помню множество других неповторимых особенностей чеховского творчества), к его пьесам хочется возвращаться снова и снова потому, что они пронизаны любовью к жизни. Он создал образы людей, которые любят жизнь и, как мне кажется, хотят жить вечно.

Соприкоснуться с духовным миром Чехова — это ни с чем не сравнимое счастье и честь. Я считаю, что нет другого драматурга, который мог бы дать столько, сколько дает Чехов, и с которым у его истолкователя могла бы возникнуть такая духовная близость.

Каждая постановка чеховских пьес рассказывает нам что-то новое и о Чехове, и о жизни, но полное воплощение всего совершенства Чехова остается недосягаемой мечтой. Идеальным работником театра, любящего свое искусство, были бы вечные генеральные репетиции «Вишневого сада»: ведь тогда еще можно надеяться, что совершенство будет достигнуто, что до него осталось только один шаг.

Мне довелось дважды поставить все основные пьесы Чехова, и моя заветная мечта — завершить этот цикл в третий раз: быть может, в третий раз мне удастся в большей степени передать их совершенство.

Лондон

ИОН ДРУЦЭ

«ЗНАМЕНИТОСТЬ № 877»

СВЕТЛАЯ, сочная шутка привела молодого Чехова в редакцию юмористического журнала. Рассказ начинался с того, что на протяжении четверти века последовало множество таких же унылых рассказов. Чехов шутил со сцены, шутил в письмах, шутил с окружающими его людьми, и последние слова, сказанные перед смертью, были тоже своеобразной шуткой: «Давно я не пил шампанского...»

И все-таки Чехов не был юмористом в обычном понимании этого слова. Чехов шутил, но это было его уныние, нужда, — от нее он отвлекался.

«Милый друг, Константин Макарыч, я пишу тебе письмо...»

Ночь под Рождество. Хозяев нет дома. В спальной мастерской остался только Ванька со своей горькой долей, и